

...Хромая на одно крыло и свесив вялую красную лапу, летела, слёзно вскликивая, одинокая белая лебедь. Маясь в полёте, она натужно перемахала крутोलобую стену Свято-Кириллова монастыря, низко припала к сонной глади Сиверского озера и, отражаясь в ней встрёпанной снежной пушью, застремилась вдаль от угрюмой обители, цепляя мёртвой лапой светлую воду и оставляя за собой рваную тёмную стёжку — словно зачёркивала в ясном зеркале своё увечное отражение.

Лебедь спешила на яркий закат к плавням, в камышовую затишь, от громоворчащей, широко распахнувшей захапистые аспидные крыла тучи. Проблескивая

огненными спицами и сея моросью, туча проволокла набрякшее влагой чрево над куполами монастырских церквей, да вдруг густоструйно забрызгала, будто кто невидимый мощно давнул меж ладонями её отвисшее вымя. Озёрная гладь взрябила от гулких струй, забулькала пузырями и взнялась баннным паром. Шквальные, из-под тучи, наскоки ветра-поморника спихивали с валуна сидящего на нём и навалившегося на посох старика-монаха, хлестали мокрыми плетьюми по сутулой спине, по чёрной камилавке, а над озёрной ширью сивогривым табуном-привидением затоптался туман и скоро упрятал в своих космах только что полоскавшийся в озере кровавый подол заката. Под приникшим к земле небом быстро настоялась сумеречная немота, суля долгую и тревожную ночину.

Напружив глаза, старец взыскующе вглядывался в густеющую потемь, где сокрылась увечная лебедь, и что-то шамкал тёмным провалом запавшего рта. Всегда густые встрёпанные волосы, теперь причёсанные гребнем дождя, мокро облепили костистое лицо, отчего обычно упрятанные в космах хрящеватые, как у сатира, уши остро выставились и пугающе шевелились при немощном шамканьи.

«Вишь ты, — вяло думалось ему. — Жива пляскуня, а мнится давность я её в Ферাপонтовом монастыре ловконько этак-то пищалью стрелил. Уж как досаждала!.. Крылами из невода-ставка моего крупну рыбу вымахивала, однуё мелочь — костлявую худобу — оставляла, да ишло и выкликивала явственно: «Табе-е уся мелкота энта, пастырь падших, паси её, болезную, а доброй и здоровой в силках твоих николи не бысть». Ну а как стрелил пакостунью, то и унялась. Пала на воду и растопоршилась, долгонько на озере маячила, покуль ветром не отдуло с глаз долой, эвон к тому берегу».

Тут до слуха его отдалённым вздохом-укором донеслось:

«То не лебедь, тобою увечная, горе мыкая, летает, то Русь, доныне казнямая, спасенья светлого взыскует».

И приоблазнилось мниху — вроде кто подошел неслышно и присел на соседний валун. Он опасливо свернул голову и ознобно передёрнулся. Застив лицо ладонью немо глядел на пришельца сквозь растопыренные пальцы, как сквозь щель в заплотине, ослезнённым от страха глазом: объявившийся когда-то в Москве в келье слепца Саввы, перед ним сидел, приладив бороду на посошок, никак не изменившийся за протекшие годы сугробный старец и всё так же печально смотрел на оторопнувшего монаха.

— Нико-он, Никон, — скорбно промолвил старец, шевеля понурыми усами. — Тако-то ныне, яко младенчушко зазорный, на жестком камушке тужишь. А сказывал ране — подале от царей, так головушка целей. Нет же, сладили с Лексеюшком дурневу дуду Отчине на беду, а почали дуть — у самих слёзы идут. Царь-от, вылученик твой тишайшой, аки пнул тя с престола — тако-то люто доунавозил нивушку русскую чужебесием латинским, а, помирая, боле от страха ревел, чем каялся — до крайнего вздоха всеу надеялся, могила все грехи его с ним прикроет. Ну да укрылся могилой, а грехи на тот свет концами повылезли... Ноне сумерничал аз с преподобным Сергием Радонежским, всё-то он который век молится за землю Отчую, всё-то печалуется. О нонешнем священстве, о службах, тобой умысленных по кривым служебникам греческим, тако молвил: «благодать от них на небо улетела, и вот — суетно кадило их и грешно приношение».

— Опеть ты незван явился, опеть в душу мою аки в пазуху лезешь. — Никон — опустил руку, мазнул языком по ссохлым губам и удавьим взглядом уставился в старца. — С чем ноне, припозднясь, пожаловал, блукалец неусыпный? Всё-то поминашь неотступно?

Старец насупился, кивнул:

— Незабывтно поминаю и не я токмо. Помянщиков у тебя тьма, да не мочно до срока им зреть пастыря немилостивого. Ужо пождут мало, да и выйдут, оправданные, на стретенье с тобой долгождомое. Уготовься, день тот на твоём порожке.

Никон ворохнулся на валуне, отвёл от старца бледное, с черными унорышами глаз, оснулое, вроде умершее лицо, болезно заперхал:

— Кхе-кхе... Ува-а-жил. Поминами твоими я, как клюкой, подпираюся. Да нешто жалкуешь о душе моей? Ну, всяко-то услезил меня.

— А как не жалковать, тугой ты человече! — гость притопнул посошком. — Рабам Божиим душа свыше посылаема есмь, она подарок Господний. Ежели проказят её, то и губят себя невстанно. Но... услезил, говоришь? Так это гордыня твоя — грех смертный — уязвлена бысть, сердце сокрушено и слезит во покаяние. То и угодно Богу во всяко время.

Покряхтывая, Никон развернулся к старцу и как захристорадничал:

— Не злоказни боле, кто ты не есть, свет-старче, оставь, пожалуй. Мне даве тобою рекомое всё-то сбылося, да и царь со иудами-греками всяко умаял, то и поделом дурню-мужику. — Мних прищепил губы пальцами, туда-сюда побегал глазами. — И тутока, — откинул головой на стены обители, заподмигивал из тёмной глазницы колким глазом, — чёрная братия без устали смертки моей ждёт. Вдругоряд травить учнут во дни святые, постные. В кашку чего подмешают, кореньев там колдовских, шкурок жабьих, да травки наговорной. Они ж как есть ведьмаки и упыри летячие, а тому, чему статься от них, лешаков, аз, болезной, мышкой-доможилкой наперёд извещаем. Она, задружие моё, в келье со мной живёт — постничает. Оно и молится, токмо по-своему: похрумкат крошками и ну по мордашке усатой лапками возить — умывается, вроде, а сама, хитруха, толмудит, але ишшо ково там творит. А пошто нет? Каждое дыхание свого Создателя славит. У Федьки Ртищева тож собачонка водилась, так она, сказывали, истинне крестилась и благословляла лапой двуперстно. Никонем насмешники кликали, ну да её хлебушком подманули мои добрые монаси и удавили пояском раскольщицу. А ишчо пошепчу тебе про тутошного Никитку-игумена. Ох, не люб до меня! Келейника мово, Шушеру, в келью почал не пушшать, токмо доможилка моя его не послушает и всяко-то около меня: оно и утешливо, и душу теплит. А Никитка, он, неначе, с разуму отпятился: кажну-то ноченьку чертят малых тех ко мне напушшат. Они в уважении к нему, чёрту большему, его, мне сказывали, сам сатана в зыбке нянчал.

Сугробный старец слушал сострадательно, как слушают лепет дитяти неразумного, даже переступил посошком, подвинулся к монаху. И оконца келий в тёмной стене монастырской, едва проявленные тощим свечным отсветом, вприщур глядели на них, как прислушивались.

— А ведь я досель патриарх российский, отец отцов и святитель крайнейший не токмо всему люду, а и ему, архимандритишке! — грозя пальцем, ворчал Никон, по привычке жамкая иссохшей крупнокостной пястью набалдашник берёзового посоха. — Ан неймётся Никитушке, посылат в полную луну их цельной стаей меня наведывать: вскочут и на полу усядутся рядком, на окошице примостятся, копытцами пощёлкивают, а ино на ложе каменном моём в ногах присуседаются. И крестом от них отмахивалси, и кадиллом густо дымил — не уходят! Токмо чихают и глаза лупастые кулачками мохнатыми трут. Ноченьку всюё этак-то посиживают. Ничё не пакостят, не шалуют. Из себя бравенькие, шорстка лоснится. И почё тако-то люб я имя?

Старец отнял голову с посошка, закивал, понимая.

— Полнолуние — ихнее времячко. Да и ты дитятем снобродным рос, так они тебя своим дедушкой чтут. Небось, хмельное с имя распивал, оно и привадил. А коей гурьбой оне? Числил?

— Дак кажну ночь шшитаю. Вточию тринадцать. Единожды токмо лишний с имя навялилси. — Никон примолк, пожевал губами, будто прикидывал — надо ли досказывать — решился и опасноливо зашептал. — Тот, которой лишний с имя был, ох страсть как большо-ой! С коломенску версту! Сам лохматай, рога ухватом, да я его, — Никон победно хихикнул, — враз обличил. Эт ж Никитка, игумен тутошной, которой вконец умом обносилси и в чорта перекинулси, а как обличил его, то и рыкнул и брадой заметлил, а она совьись, да ему промеж ног, так он на ей, яко на помеле, в оконце уфуркнул... Не-е, вино с имя не пью, нету-ка вина. Алексеюшко на мою нищету присылал давность поманеньку в Ферапонтов монастырёк, да помёр, глупой, а нонешный Федорка ску-уп, ничо-то не шлёт сюды, в Кириллов, да оно и разворует братия. Тако-што гостюшки мои беспятые однуё водичку из бадейки сосут: губы выпятят в тросточку и тя-янут, тя-янут, бывает поперхнутся, ежели крестом осенюсь. Ну да попривыкнул к имя и ничо-о. Тихо гостюют. Вечор шептались, мол, архимандрит наш женится — игуменью берёт.

Старец хмыкнул и, завесив глаза снежными застругами бровей, хмуру спытал:

— Староотеческим крестом спасаешься, або как греки указали?

— А всяко, — вяло шевельнул ладонью Никон, — добры обоя.

Гость возразил:

— Только лапоть на обоя ноги плетётся.

— Всяко гоже, — упёрся монах. — Кады как. Аз тремя персты, как к покою гораздше, оно и чертей не корчит и мне от гостюшек бездосадно. Быват, отойду в забытье, то и двумя перстами обмахнусь, так они из кельи с воем умахнут, яко ветер выдует. Но-о, уж как вспять влетят, то так-то рёбра настучат и боки намнут! Пластом отлѣживаюсь. А я от ссылок да неправды царской вкрай охворал и весь оголодовал. В страхе и нищете живот износил и сна лишился. В голове шум велий, аки ковали мехами огонь вздувают, да в наковальни молотами гудут. Оно и ноги не носят. Чую — край доспел на ниву Божию в колодине откочёвывать.

Сугробный старец вновь притопнул посошком и как приговорил:

— Воистину — доспел! Токмо на жальник к содружникам подкатоличным, к другим немцам русским. А нивушка Божия вельми заселена убиенными за Ису-са, и до времени в сельбище том петухи не поют, люди не встают, солнышко не блестит, небушко не звездит, лишь Свете Тихий неизреченный над ними, праведными, царует.

— Алексеюшка-царь, небось, на нивушке почиват, меня поджидат? — с виноватинкой в заискивающем шепоте понадеялся Никон.

— Нет, — отрубил старец. — Ему к Свете Тихому врата всекрепко зааминены. Он в собинном местилище в муках преисподних. Суда Страшного ждёт. Тебе к нему наказано, к своему выученику державному.

Никон засопел, навалился на посох, обвис на нём чёрным пугалом и проговорил удушливо, в землю:

— Этак-то допредже и Аввакумушко гордой предрёк: «Знай, патриарше, с греками-латинщиками дашь маху — втащишь себя на плаху». То и сталося. Эт куды от меня ум-от подевалси?..

Сугробный старец поднялся с валуна, стоял во всём белом, сам белый в ла-

поточках берестяных и утешливым взглядом смотрел поверх сникшего мниха на озеро, задёрнутое шторой тумана, за которым упряталась увечная лебедь, проговорил:

— А и с умом воровать — суда не миновать.

— Не миновать, — не поднимая головы, покорливо признал Никон. — Но-о... Есмь у меня надёжа едина, кабы её управить ладнее. — И с отчаянием, замешливо, начал выговаривать. — Фёдор Лексеевич, наследыш тишайшего, всё-то грамотки шлѣ-ѣт, всё-то про-осит моего прощения рукой на бумаге родителю безрассудному и молитв разрешительных. А кого я смею — священства лишенный мних?

— Аки мних и потышишь, — тихнул голосом старец. — Слова твои ангелы слышали и на свиток записали, да ведомо будет... Сказываю тебе — потышишь.

— Николи! — Никон зло отпнул посохом камешек, он отлетел в туман и там пичкнул в озеро, будто обиженно всхлипнул. — Я ишшо не самошедшай! Пушай поклонно зовѣт на престол мой московской. Ужо там в Большом Успении при народном множестве, я, как есмь патриарх Российской, отпущу государю усопшему прегрешения его и помолюсь с иерархами русскими пред святыми мощами во спасение души его. Наче — никак. Наче некомуждо станет и за меня, одним грехом с государем грешного, Господу докучать о милости.

— Как же Иоаким, — совсем уж шепотом прошелестел старец. — Ноне он патриарх.

— Самоставник царской, не патриарх! — вскричал Никон. — Вот его с митрополитами, им ставленными — Лариошкой, да Пашкой, да греков-иудов за хлеб-соль мою распявших меня аки Христа — заломлю наипервейше, потом уж покаяние Господу скажу за грех мой вероотступный. Тако учну, как покойный Иван Неронов наущал. Со слову!

То ли камыш прибрежный еле шумнул, то ли старец затухающе молвил:

— На Руси што ни ломать, чужих бесов не звать, свои есть...

— Е-е-есть... — истаявшим эхом донеслось до чутких ушей Никона.

Он оторопно вскинулся, но сугробного старца никак не нашарил растерянными глазами, подумал: «Явился не зван, отступился не гнан». И вдруг от боли — взрывом-полымем, распёршим голову, замотал мокрыми патлами, тщась вытряхнуть из неё нестерпимую жечь, как из кадила раскалённые добела уголья, и не слышал, как за спиной на монастырской колокольне кто-то раз один гулкнул в ночной колокол. Звон испуганно запорхал над обителью, но его тут же ухапала, как сглотнула, промозглая темень...